

ЮРИЙ ЛУНИН



## ТРИ ВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ

РАССКАЗ

Утро в середине лета, небо не предвещает дождя.

По обочине пустой загородной дороги летит на велосипеде парень семнадцати лет. Только что начался длинный спуск, на котором можно отдаться инерции и дать отдых ногам, но парень, наоборот, начинает работать ими всё быстрее, чтобы поспеть за собственной скоростью летящего вниз велосипеда и вновь ощутить сопротивление педалей, тем самым присвоив скорость себе. Но едва он ощущает желаемое сопротивление, велосипед словно отказывается от его помощи и продолжает катиться сам, заставляя парня как бы водить ногами по воздуху, и тот начинает всё сначала. Так они вдвоём достигают невероятной скорости, которой парень согласен уже просто насладиться.

По обеим сторонам от дороги стоит спокойный, ещё не прогретый солнцем лес. Вся дорога в тени этого леса, и асфальт поэтому — синий. В воздухе ясно ощущается запах прохладной дорожной пыли. Парень чувствует, что этот запах и синее каким-то образом связаны друг с другом и что в этой связи кроется нечто не по-земному прекрасное. Ему очень хочется разгадать тайну этой связи, и в то же время ему особенно приятно, что он не может её разгадать. Ему не хватает кого-то рядом, и вместе с тем он счастлив, что совершенно один. Он много чувствует нового, не похожего ни на что прежнее, и хочет чувствовать ещё больше, но втайне от себя просит у кого-то:

---

*ЛУНИН Юрий Игоревич родился в 1984 году в г. Партизанске Приморского края. Прозу пишет с 17 лет. Публиковался в журналах “Наш современник”, “Волга”, интернет-журнале “Luterratura” и др. Лауреат премии “Справедливой России”, премии им. И. А. Гончарова, премии Л. М. Леонова, российско-итальянской премии “Радуга”. В настоящее время живёт в Ногинском районе Московской области. Работает выпускающим редактором в звуковом журнале для слепых. Женат, отец троих детей.*

“Чуть поменьше, не надо слишком много”, — потому что боится не вместить всего и остаться ни с чем.

Дрожит от ветра велосипедный звонок, гудят колёса, и рассекаемый воздух тепло гудит у висков.

“Шумно, и жутко, и грустно, и весело — я ничего не пойму”, — вспоминает парень строчки и с волнением глядит вперёд, туда, где обрывается лес и начинается сиять поле...

Всю вторую половину июня он провалялся в больнице с аппендицитом: плохое заживление рубца. Потерял две недели хорошего лета. Пропустил вступительные экзамены в местный строительный институт, куда пошли учиться почти все его одноклассники, да и большинство вообще выпускников города.

Испытал первую в жизни настоящую сильную боль — как телесную, так и душевную. Раньше ему казалось, что он застрахован от всего страшного, что случается с людьми; что хирургические операции и больницы придуманы для других, не для него. А вот загремел, как другие, стал одним из этих *других*.

В первые дни после операции с незнакомой ему прежде тоской смотрел на верхушки берёз, которые призывно дрожали сверкающими листьями за окном палаты. Вместе с ветром до него доносился смех неизвестных ему детей и девушек. Ему до слёз хотелось к ним, на солнечную волно: видеть их лица, смеяться вместе с ними. Он понимал, что уже очень скоро это будет ему доступно, а стало быть, нечего так страдать, но почему-то не мог избавиться от невыносимой тоски. Ему казалось, что никогда он отсюда не выберется.

Но больничные дни принесли в его жизнь не одну эту боль.

В коридоре на третьем этаже, как раз неподалёку от его палаты, имелась библиотечка. Библиотечка — это даже громко сказано; просто прибитая к стене полка, на которую больные складывали прочитанные ими журналы и детективы, не видя смысла забирать одноразовое чтиво домой. Как только парню отменили постельный режим, он вышел погулять по коридору и набрёл на эту полку. Вообще, он не очень-то увлекался чтением, но сейчас его внимание привлекла довольно толстая книга в коричневой обложке, своей благородной простотой выделявшаяся из разноцветной груды периодики и дешёвых романов. Он прочёл на корешке название: “Три века русской поэзии”, достал книгу и подержал в руке, чувствуя, как его не затянувшийся рубец реагирует даже на такую невеликую тяжесть. Он взял книгу под мышку и отправился к себе в палату. Там он взбил свою дистрофическую подушку, улёгся на узкую койку, с которой так и не стряхнул колючие хлебные крошки, потому что не желал даже в такой ничтожной мере обживать себя в нелюбимом месте, накрылся до пояса одеялом, как обычно запутавшись пальцем ноги в дырявом пододеяльнике, раскрыл книгу наугад и прочёл стихотворение Тютчева. Потом раскрыл на другом месте и попал на Заболоцкого, потом на Фета, на Рубцова, на Пастернака, Полонского, Державина, Фофанова — и так далее...

Некоторые стихи были ему знакомы со школы, но тогда он читал их исключительно по долгу учёбы. Теперь же он читал сам, для себя, и это было совсем другое. Он помнил, что раньше очень многое в этих стихах было ему непонятно. Он даже задавался тогда вопросом: зачем писать так сложно и странно, если можно сказать обо всём просто? Теперь он удивлялся тому, как это раньше стихи Пастернака, Мандельштама, Цветаевой могли казаться ему сложными, странными, заумными. Видимо, боль, с которой он познакомился в больнице, распахнула в его сердце какую-то тайную дверь, в которую сразу ворвалось понимание этих стихов.

И он не мог оторваться от них. Он читал их, забыв самого себя, читал так жадно, как если бы находился в пожизненном заключении и одними лишь этими стихами мог напомнить себе о том мучительно радостном и просторном мире, который потерял навсегда.

Он стал читать эту книгу дни напролёт. Иногда чувствовал, как к его глазам подступают слёзы, и тогда ему приходилось понарошку чихать и тереть нос, чтобы соседи по палате не догадались, что он плачет из-за книги.

Когда в палате выключали на ночь свет, стихи продолжали звучать в его голове. Он совсем не старался заучивать их наизусть; просто, читая, он проживал их сердцем насквозь, и они сами вкладывались в память целыми страницами, становясь как бы его собственными. На соседних койках храпели на разные лады его случайные товарищи по неволе, время от времени звучно портя воздух; в коридоре потрескивали плафоны и изредка раздавались чьи-то скучные, равнодушные шаги, а он лежал и видел глазами воображения мудрый, прогретый солнцем лес, видел изгиб сверкающей реки, видел сирень под тёплым дождём и задумчивую чистую девушку у вечерней калитки. И в какую-то секунду ему начинало казаться, что из того прекрасного мира, который он воображает, до него долетает настоящий ароматный ветер, и ему снова хотелось плакать, и часто он плакал. Поначалу он не вдумывался в эти слёзы и был уверен, что они текут от тоски, как вдруг однажды понял, что эти слёзы — слёзы счастья.

Днём, в обеденное время, когда по душевной палате вместе с запахом пиццы разливалась тупая дремотная лень, он иногда начинал стыдиться того, что испытывал ночью, и нарочно говорил себе: “Чёрт знает, что творится с нервами в этой больнице. Скорей бы уже отсюда смотаться”. Однако он снова, — видимо, для того, чтобы себя испытать, — взбивал свою тощую подушку, ложился на усыпанную колочими крошками койку, открывал книгу — и дремотная лень отступала, снова до него доносился ароматный ветер, ещё более прекрасный и удивительный посреди жаркого дня, чем посреди ночи.

Больницу он покидал не без сожаления. Конечно, он не забыл захватить с собой “Три века русской поэзии”, но, едва переступив больничный порог, понял, что теперь ему будет трудно читать эту книгу так, как он читал её в больнице; что сейчас его захватит свободная, неплохая, но где-то более глухая жизнь.

Он единственный ребёнок в семье. Его аппендицит сильно напугал родителей. Как ни странно, раньше они тоже пребывали в уверенности, что все на свете болезни и несчастья будут обходить их сына стороной, — и вот им тоже пришлось разделить участь *других*, с чьими детьми случается всякое. Благодарные судьбе за то, что с их ребёнком случилось ещё далеко не самое страшное, в первую неделю после его возвращения они относились к нему, как к божеству, одного простого пребывания которого рядом уже достаточно для счастья: пускай оно целыми днями валяется у себя в комнате с какой-то книжкой, которая, быть может, и не имеет никакого отношения к его профессиональному будущему, — всё равно это в миллионы, в миллиарды раз лучше, чем если бы оно просто исчезло из их жизни. Но на вторую неделю они будто проснулись от дурного сна и ясно осознали, что их сыну ничто не угрожает, более того — что их тревога за его жизнь изначально была преувеличенной. И тогда, — видимо, давно разучившись жить вообще без тревоги, — они окунулись в привычное беспокойство за его дальнейшую судьбу: вступительные экзамены он пропустил, в ноябре ему стукнет восемнадцать, а он как ни в чём не бывало лежит с книжкой, на страницах которой (мама уже успела это заметить) одни столбцы и строфы. Имеет ли он какой-то жизненный план? Или ошибочно думает, что всё сложится само собой?

В пятницу вечером отец вошёл в его комнату, чтобы начать об этом разговор. Парень сразу понял, что отец зашёл не просто так; понял по тому, как, не промолвив ни слова, он пододвинул к его кровати стул и основательно уселся на нём. От неприятного предчувствия парень ощутил что-то вроде лёгкой тошноты.

Начал отец издали: сначала спросил о физическом самочувствии, потом поинтересовался насчёт морального состояния: говорят, нередко после перенесённой операции человек испытывает что-то вроде депрессии. Сын отвечал, что чувствует себя хорошо, почти как до аппендицита, да и настроение вроде бы нормальное. О стихах он, конечно, говорить и не думал: во-первых, он был уверен, что разговор их не коснётся; во-вторых, он и сам ещё не до конца понимал, какое значение они приобрели в его жизни, и даже не успел ещё себе признаться в том, что все послебольничные дни только

и делает, что пытается нащупать то нераздельное единство со стихами, которое ощутил в больнице и без которого жизнь казалась ему теперь неполноценной.

Придвинув стул ещё ближе к кровати (что прямо пропорционально усилило в парне ощущение тошноты), отец мягко, без нажима спросил его, почему (если, по его словам, он так хорошо себя чувствует) он уже вторую неделю проводит в горизонтальном положении. Может, всё-таки что-то не так? Сын повторил, что всё в порядке, и, понимая, что таким ответом отца не удовлетворить, всё же добавил, что просто читает интересную книгу. Он всё ещё не думал говорить о стихах, о том, что они появились в его жизни как нечто очень важное и серьёзное. Просто решил оправдаться при помощи книги. Но отец уважительно, со словами: “Если ты, конечно, не возражаешь...” — попросил разрешения взглянуть, что это за “интересная книга”, и парень не нашёл причин отказать ему.

Отец долго листал “Три века русской поэзии”, часто заглядывая в содержание. Парню было непривычно смотреть на то, как отец переворачивает страницы, иногда мимолётно касаясь пальцем языка: кажется, парень никогда раньше не видел его за таким занятием.

Пока продолжалось чтение, за окном пролетел самолёт, оставив на безоблачном розовеющем небе идеально ровную черту, похожую на разрез скальпеля. Парень задумался о том, что эта черта, привнесённая в небо человеком, удивительным образом не уродует, а украшает небосвод.

“Так же и стихи, — сказал себе парень. — Они тоже идеально ровные, как эта полоска, хотя мир, про который они написаны, совсем не ровный. Стихи выравнивают мир”.

Между тем черта начала медленно распухать, будто вспоротое небо выпускало из себя своё странное содержимое.

— Н-да... — сказал отец, выпрямляясь и расправляя затекшие плечи. — *Что делать нам с бессмертными стихами...*

Он вздохнул (парень не понял, над чем) и вернул сыну книгу.

Летний вечер, который до этого казался продолжением дня, в одну секунду стал началом ночи. И отец, и сын сразу это почувствовали. Трудно было сказать, что именно изменилось (быть может, затих на улице какой-нибудь неумолчный детский голос, который служил до этого незаметным сердцебиением дня), но воздух комнаты, не освещённый электричеством, наполнился вдруг той тихой печалью, которую испытываешь у постели медленно угасающего человека. Эта печаль располагала к тихому откровенному разговору.

И отец рассказал, что до сих пор помнит даже запах той самиздатовской книжки со стихами Гумилёва, которая тайно ходила по рукам у студентов, когда он учился на третьем курсе института, а мама училась на первом. Это был тот же строительный институт, куда поступило нынешним летом большинство одноклассников парня и куда ещё совсем недавно собирался поступать он сам.

— Н-да... — повторил отец и процитировал снова: — *“Кричит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства...”*

“Пищит наш дух”, — хотел поправить парень, но не стал. Он поглядывал на отца с осторожным удивлением. Он и не думал, что в отцовской жизни тоже имела место поэтическая страница. В свете этого неожиданного открытия ему сразу показались странными две вещи: первая — что отец ни разу не заговаривал с ним о стихах раньше, а вторая — что сегодня — это обычный инженер-строитель, день ото дня выполняющий довольно скучную работу и больше половины своего свободного времени посвящающий телевизору.

Кажется, отец отчасти угадал недоумение сына и почему-то заговорил после этого с более откровенным назиданием, словно стряхнув с себя печаль идущего на убыль дня и, казалось, даже делая некоторый акцент на том, что эту печаль надо уметь стряхивать.

— Ты, наверное, думал, что я кроме чертежей ничего в жизни не видел и не знаю?.. Не-ет, всё было: и стихи, и романтика, и песни у ночного костра. Только мы как-то умели это с делом совмещать. Одно другому у нас

почему-то никогда не мешало. Между прочим (да ты, собственно говоря, видел у меня этот шов неоднократно), мне тоже пузо вскрывали. Грыжа у меня была. На картошке вытаскивали из грязи трактор, и я переусердствовал, перед мамой твоей хорохорился. Я тогда уже не только учился, но и работал. И с мамой всюду встречался. И знаешь — ничего. Отлежал, по-моему, даже меньше положенного, вышел, нагнал институтскую программу, на работу вернулся. И как-то это было совершенно без всякого героизма, в порядке вещей. Так что...

Отец не стал заканчивать фразу, видимо предлагая теперь высказаться сыну. Парень даже приблизительно понимал, каких именно слов ждёт от него отец: он должен сказать, что такой подход к жизни в порядке вещей и для него, что он тоже не раздувает трагедии из своего аппендицита, что, возможно, отец прав, и он действительно переживает после больницы некий моральный упадок, но ещё денёк-другой — и всё вернётся на круги своя. А ещё ему следовало сказать о стихах: что стихи — это так, ничего такого серьёзного. Не думает же отец, что он собирается стать поэтом?

Но почему-то парень ничего этого не сказал. Он молчал, чувствуя, как начинает от волнения потеть. Впервые в жизни он ощутил, что между ним и отцом что-то может вот-вот порваться, если уже не рвётся. И всё-таки он молчал.

Не услышав от сына ни слова, отец был вынужден заговорить с ним прямо, называя вещи своими именами.

— Ну, хорошо. — Стукнув ладонями по коленям, он встал и начал медленно ходить по комнате, иногда останавливаясь. — Ты же понимаешь, что ты профукал экзамены?

— Понимаю.

— Понимаешь. Это уже отратно. Так вот, поскольку у тебя была на это уважительная причина и поскольку я пребывал в святой уверенности, что ты сам горячо заинтересован в получении высшего образования... — На всякий случай отец и на этом месте сделал паузу, но ответом на неё снова было молчание. Тогда он заговорил с возрастающим недовольством: — В общем, пока ты там мужественно преодолевал недуг, я решил как-то поправить ситуацию с твоим поступлением в вуз. Я созвонился и встретился с Игорем Витальевичем, Оловяниковым (ты его должен помнить, он ездил с нами на Оку, это у него тогда лец огромный леску оборвал, и он неумело так матерился; мы ещё смеялись, а он на нас обижался). Так вот, этот Игорь Витальевич давно в институте работает и, в общем-то, не последний там человек. И он сказал мне: “Какие вопросы! Конечно! Поможем парню”. Он вообще сказал, что готов договориться с ректором, чтобы тебя зачислили на первый курс без всяких экзаменов. Я, говорит, ни на секунду не сомневаюсь, что парень у тебя хороший, потому что прекрасно знаю тебя.

Парень отвлёк глаза, готовясь со стыдливой благодарностью принять весть о том, что он уже студент. На самом деле, он был бы рад этой вести, и, кажется, отец это почувствовал.

— Я надеюсь, ты не думаешь, что я на это согласился? — спросил он тоном, исключая возражение.

— Нет, конечно, — соврал парень. — Это уж как-то совсем...

— Вот именно, — немного успокоился отец. — Я сказал, что ты у меня человек серьёзный, сознательный (я действительно так думал и, в общем-то, продолжаю думать до сих пор), и сказал, что ты, мягко говоря, будешь не в восторге, если узнаешь, что “папочка за тебя похлопотал”. Вы, говорю, просто придержите, если есть такая возможность, одно место на бюджете и примите у него экзамен по всем правилам, когда он к вам придёт. Пускай, говорю, как все нормальные люди, тянет билеты и демонстрирует свои знания. Поступит — прекрасно, нет — нет. — “Ладно. Хорошо. Одобряем. Пускай приходит, как поправится. Комиссию какую-никакую сколотим, экзамен примем...” И я вроде как успокоился. Я даже сообщать тебе тогда ни о чём не стал. Пускай, думаю, будет ему приятный сюрприз: вернётся, начнёт переживать, что экзамены пропустил, а я ему тут и скажу, что всё хорошо, иди и поступай. Но я ожидал с твоей стороны хоть каких-то

добровольных телодвижений в этом направлении... — Отец изумлённо поднял плечи и выдвинул нижнюю губу. — День проходит. Два. Неделя. Вторая уже к концу подходит — сынок лежит, как Илюшенька на печи, не шевелится...

Парень молча глядел в окно. Самолётная полоса распалась в разные стороны на жидкие изогнутые лохмотья, напоминавшие волокна сахарной ваты. В этих лохмотьях сложно было угадать след человека. Это были простые облака.

Отец поглядел туда, куда смотрел парень, и, видимо, в эту самую секунду смутно догадался, что стихи во всём этом деле играют куда более серьёзную роль, чем он мог предполагать.

— Я вот одного понять не могу: почему *это*, — он указал на книгу и задвигал ладонью у себя перед глазами, как бы стирая пелену заблуждений, — никак не монтируется в твоём представлении с нормальными жизненными устремлениями? В конце концов (если уж ты так крепко увяз в этой своей поэзии), обучение в строительном институте не лишает тебя возможности ни читать стихи, ни даже с успехом их писать. — Подумав, отец решил добавить: — Макаревич, например, по образованию архитектор. Гребенщиков, если угодно, закончил факультет прикладной математики. Людей знает вся страна. Осмелюсь предположить, что без высшего образования они бы не достигли таких успехов, потому что высшее образование — это некая интеллектуальная планка, необходимая для совершенно любого вида профессиональной деятельности...

Отец ещё довольно долго говорил о достоинствах высшего образования, снова присев на стул, а парень наблюдал за опустевшим меркнувшим небом. Где-то раз в полминуты он машинально переводил взгляд на отца, чтобы удостовериться его в своём внимании, которого на самом деле не было, и возвращался глазами и мыслями к небу. Отцовские слова казались ему всё менее значительными. Их важность умирала по мере нарастания их количества, а также по мере прихода ночи. В комнате синело, серело, чернело. Отца уже было жалко. Хотелось спасти его, исчезавшего, съедаемого чернотой.

— Поэтому из-за одной книжки (пускай и хорошей, не спорю) ставить жирный крест на всём своём будущем... — завершал отец почти уже в полной тьме. — Ну... это как минимум, опрометчиво.

Он уже без особенной надежды подождал ответа и, как обычно, не дождавшись, спросил:

— Хотя бы в этом ты согласен со мной?

Что-то помешало парню сказать “да”.

— Надо подумать, — произнёс он с трудом.

— Подумать? — перееспросил отец, как будто не поверив своим ушам.

Он нетерпеливо поднялся со стула и усмехнулся сам себе: — А я тут перед ним, дурачок, распинаюсь! — Он опять усмехнулся и внезапно вспыхнул: — В таком случае, думать будешь знаешь где? В армии — два года! Понял?.. Понял меня?!

— Понял.

— Хорошо, что понял...

Хлопнув дверью, отец вышел из комнаты.

Парень остался лежать в одиночестве. Ему казалось, что тьма, наполнявшая комнату, из домашней снова превратилась в больничную, но мысль о стихах почему-то не приносила той отрады, которую приносила в больнице; от них уже почему-то не веяло нездешним ветром.

— Плен, — произнёс парень слово.

На следующее утро родители услышали, как он накачивает на балконе колёса велосипеда. Они переглянулись и подумали об одном и том же: что желание прокатиться напрямую связано со вчерашним разговором и знаменует собой что-то хорошее, правильное.

Парень вытащил велосипед на улицу, оседлал его и сразу поехал легко, быстро, радостно.

“Как это я сразу не догадался?” — подумалось ему.

И вот он вырывается из синей тени, и солнце ударило в него. По обеим сторонам дороги распахнулось слепящее поле. Он резко берёт вправо и скачивается на извилистую тропинку, которая вытягивается вдоль кромки леса, кое-где отрезая от него по одному, по несколько деревьев. Велосипед дребезжит, подпрыгивая на сосновых корнях.

Парень здесь впервые; ещё дома он решил, что будет ездить только по незнакомым местам. Он щурится от солнца и думает о том, как здорово ехать и не знать, когда эта тропинка кончится и куда приведёт; скорее, он даже не думает об этом, а просто живёт этим, захвачен этим целиком, и совсем бы в этом исчез, если бы его щёки, вздрагивая при каждом наезде на корни, не напоминали ему о его лице, о том, что он — это он.

Здесь, между лесом и полем, пахнет по-другому: мёдом, сосновой смолой, тёплым песком и, кажется, маслятами.

*“И кажется, что пахнет не сосна, а зной и сухость солнечного лета”*, — строчки появляются в голове не как отрывок стихотворения, а как пророчество, которое сбывается в эту самую секунду.

Он вспоминает свою вчерашнюю мысль, — что стихи делают идеальным неидеальный мир, — и понимает, что был неправ: стихи идеальны только потому, что идеален мир. Даже так: стихи уже содержатся в мире, только в особом, небуквенном виде. Поэт — это человек, который может их записать для людей.

Стихи уже есть... Его ладони моментально вспотевают и начинают скользить по ручкам руля. Он чувствует близость какого-то нового, ещё никем не записанного стихотворения. Он не может назвать из него ни строчки и даже не в состоянии сказать, о чём оно, и в то же время каким-то таинственным образом уже знает его целиком, ощущает его бесспорное, уже готовое существование, как будто эти сосны и это поле без перерыва поют это стихотворение, как собственный гимн, — надо только вслушаться и перевести его на человеческий язык. Какую-то долю секунды парень пребывает в совершенной уверенности, что эта задача элементарна, что гораздо сложнее ощутить само присутствие стихотворения, чем записать его, но уже в следующее мгновение он стоит перед страшным фактом: услышать и записать ничего не получается. Стихотворение есть, но его — нет.

*“Снова плен”*, — звучит в его голове.

Он начинает слепо, на ощупь составлять слова: “Поле. Солнце. Хвойный лес”, — но чувствует, что эти слова не выводят его из плена, что они — совсем не то, о чём поёт на самом деле всё вокруг. Он испытывает муки бессилия, которые не мешают ему одновременно испытывать счастье.

*“Это хорошо, это здорово, что не сразу”*, — говорит он себе и прощает себе бессилие, принимает его.

Внезапно он оказывается на берегу неширокой реки. Здесь тропинка, по которой он ехал, круто заворачивает влево и, отрываясь от кромки леса, становится полноценной грунтовой дорогой, старательно повторяющей речные изгибы.

Он слезает с велосипеда и, сделав глубокий вдох и сильный выдох, садится на берег в траву. Велосипедное движение ещё не успело прекратиться у него внутри, и кровь глухо постукивает в ушах, а в глазах от неожиданной остановки расходятся тёмные круги; наверное, сказывается больница.

*“И это плен”*, — чувствует он, поневоле выходя из очарования.

Здесь много мошкеры, от обильной травяной пыли чешется в носу, но никак не получается чихнуть; солнце накаляет череп навязчиво, неуклонно. На несколько долгих минут в душе парня воцаряется больничное послеобеденное бесчувствие. В эти минуты он — самый обыкновенный житель земли, которому незачем было вчера расстраивать отца из-за каких-то стихов, которому надо решать насущные проблемы, такие же душные, как эти минуты под безжалостным солнцем. Снова ему стыдно, что он настолько покорился стихам: что-то ему в этом видится детское или женское — явно не мужское.

Но кровь успокаивается, пот высыхает, дыхание становится ровным; небо милостиво проводит по самому солнцу маленькую стаю облаков, которые

дают ненадолго ощутить прохладу, — и вот он опять чувствует себя в окружении живого, говорящего мира и ожидает от него новых стихов.

На другом берегу одиноко стоит, касаясь ветвями воды, густая, похожая на круглое облако ива. Кажется, исходящая от неё прохлада ощутима даже на этом берегу. Дерево как будто беседует с ним этой прохладой. За деревом поле, а на самом горизонте — белоснежное пятно колокольни.

*“И зеленело за рекой девичье поле пред глазами, и монастырь белел святой, с горящими, как жар, крестами”*, — донеслось изнутри, а может, оттуда, издалека.

“Мир — это рай. Я в раю”, — думает парень, слыша гудение пчёл, стрекотание кузнечиков и вдумчивый полуденный щебет маленьких птиц. Он уже любит это место так преданно и доверчиво, будто прожил на нём не несколько минут, а несколько лет, и так печально, будто вот-вот должен будет встать и разлучиться с ним надолго, может быть, навсегда. Он знает, что это место навсегда вложилось в его сердце, стало его милой внутренней родиной.

Щука, сказочно крупная, выплыла из-под кувшинок и обошла медленным дозором мелководье, с достоинством шевеля плавниками над светлым песком и не обращая внимания на мелких рыбок, штук пять из которых, не опасаясь стать её добычей, проводили её до глубины в качестве свиты и торопливо вернулись в стаю.

“Что со всем этим делать?” — недоумевает парень.

Он медленно, зачарованно встаёт, поднимает с травы велосипед и не садится на него, а осторожно ведёт его по дороге вдоль реки. Движение в нём умирилось. Настаёт покой. Он идёт, как самый простой путник, ходивший по этой дороге не раз, с той лишь разницей, что идёт он не по обычной земле, а по раю.

Река (а вместе с ней и дорога) совершает крутой изгиб, и на месте изгиба вода рябит и сверкает, как во сне.

*“В небе тают облака, и, лучистая на зное, в искрах катится река, словно зеркало стальное...”* — вспоминает парень и счастливо шагает дальше, ощущая кругом вечный праздник.

Глядя по сторонам, он замечает простую, но очень важную особенность этого места: ничто не выдаёт в нём современности. Здесь не слышно машин, не торчат из-за горизонта высотки или дымящие трубы; здесь даже не валяется под ногами броского, ядовито-разноцветного мусора, который безошибочно позволил бы определить эпоху.

“Это место могло быть точно таким же и сто, и двести лет назад”, — думает парень, и на короткое время ему представляется, и даже верится, что он чудесным образом прикатил на своём велосипеде в девятнадцатый век — Золотой век русской поэзии. И, может быть, прямо сейчас, и даже совсем неподалёку отсюда, Тютчев додумывает своё стихотворение:

*“Чудный день! Пройдут века — так же будут, в вечном строе, течь и искриться река и поля дышать на зное...”*

Он услышал эти строки, увидел их вокруг и спокойно, разве что с маленькой грустью, вернулся мыслями в своё столетие.

Из-за какого-то далёкого извива реки, заслоняемая прежде кустарником, показалась и задрожала в горячем мареве фигурка верхом на двух невесомых, как будто из тонкого хрусталя сделанных колёсиках. О том, что она движется, а не стоит на месте, поначалу свидетельствует только переменчивое сверкание колёсных спиц. Парень останавливается, замороженный картиной, похожей на мираж.

*“И шестикрылый серафим на перепутье мне явился...”*

Парень с волнением готовится к уготованной ему важной встрече. Проходит не меньше двух минут, прежде чем ему удаётся разглядеть, что фигурка — женская; он не смог уловить то мгновение, когда это стало ему понятно, поэтому уверен, что это было известно ему с самого начала.

Точно так же неуловимо и изначально известно наступают в его жизни долгие золотые секунды, в течение которых он близко видит ту, что приближалась к нему издалека.



Это девушка в белой косынке, в белой футболке и фиолетовых трико, слегка запачканных краской и дорожной пылью. Из-под косынки на лоб и плечи выбиваются тёмно-русые гладкие волосы. Велосипед её — старенький, скрипучий, кое-где заржавленный, однако кажется весьма прочным из-за того, что девушка, сидя на нём, держит прямую осанку и поднимает свои красивые колени старательно и равномерно.

Парень стоит и неотрывно смотрит на девушку, забыв о том, что это может выглядеть не совсем вежливо, может даже испугать её.

Действительно, на лице девушки отражается волнение: по-особенному розовеют щёки, и смотрит она как-то умышленно не на парня, а на дорогу перед собой. На ровном месте руль её велосипеда неожиданно виляет в сторону, колени ударяются друг о друга, и, едва она оставляет парня позади, закреплённый на багажнике её велосипеда алюминиевый бидон соскакивает и падает в траву. Он громыхнул своей пустотой, и девушка, конечно, это услышала, однако, прежде чем остановиться, она выравнивает руль и отъезжает от парня довольно далеко; вероятно, первым, бессознательным её стремлением было поскорее покинуть это место, пожертвовав бидоном.

Парень видит, как неловко она теперь перетаптывается, пытаясь развернуться вместе с велосипедом, высокая рама которого осталась у неё между ног. На кого-то она в эту секунду очень похожа: то ли на маленькую девочку, которая пытается пройти в огромных маминых туфлях, то ли на какое-то морское животное — из тех, что так изящны в воде и так беспомощны и неповоротливы на суше.

Он бросил свой велосипед, быстро подошёл к бидону, поднял и, подбежав к девушке, протянул ей. Порозовевшая теперь всем лицом, не глядя парню в глаза, она быстро приняла его, суетливо и бессмысленно приставила к багажнику, быстро придумала, что бидон можно просто повесить на руль, повесила — и вот, сказав парню “спасибо” настолько тихо, что, может быть, и не сказала на самом деле ничего, уже едет, не оборачиваясь, дальше. Её велосипед не позволяет быстро набрать скорость, и парень наблюдает, как девушка, то и дело наклоняясь грудью к рулю, изо всех сил преодолевает сопротивление педалей. Но вот она уже довольно далеко, а вот и совсем далеко — уже едет вдоль леса, той самой тропинкой, по которой недавно ехал он: два крохотных хрустальных колеса, уже, скорее, не хрустальных, а сделанных из тонкой паутины, белая точка косынки и стихающее дребезжание бьющегося о руль бидона... И так это дребезжание уместно, не тягостно, нужно, такое оно летнее, полевое, напоминающее о пасущихся коровах, о молоке, — что, стихнув окончательно, оно всё ещё продолжает звучать в голове памятью, пока кузнечики, наконец, не заштриховывают его полосками своего неумолчного стрекотания.

— Господи... — говорит парень и снова садится на береговую траву, чувствуя, как и это новое место у реки навеки становится его милой родиной, вкладывается в его сердце.

По воде побежала рябь, сделавшая реку как будто шире, величественнее и отчего-то печальнее.

*“Ты, земля, и вы, равнин пески...”*

Он не может чему-то поверить: то ли тому, что эта девушка здесь была, то ли тому, что теперь её здесь нет.

*“Перед этим сонмом уходящих я не в силах скрыть своей тоски...”*

Последние две строчки — о другом расставании, гораздо более печальном, чем расставание с девушкой, но парень чувствует, что они по-своему уместны и теперь.

Смягчилось, а потом и спряталось солнце, — кажется, надолго. Кузнечики примолкли. Рябь разгладилась. Воздух стал более нежный, как бы жалостливый к парню, готовый внимательно слушать его сердце. Над потемневшей водой бесшумно задвигались светлые мошки. Иногда одна из них ненадолго прилипает к реке и распускает на глади маленькие круги. Подрагивает в воде камыш — тоже бесшумно. Висит в воздухе блаженное, онемевшее летнее тепло.

— Как же я теперь без неё, — произносит парень в совершенную тишину. Он бросает в реку травинку, которая пронзает гладь с каким-то дождливым звуком, и падает спиной на пахучую траву. Ему теперь есть, стало о ком сказать: “Как же я теперь без неё”. И он произносит другие слова:

— Хорошая моя. Красивая. Как же я тебя люблю.

Он понимает, что это — большие, серьёзные слова; быть может, слишком большие и серьёзные, чтобы так запросто выпускать их в небо. Он ведь совсем ещё не знает жизни, он даже ни разу ещё по-настоящему не целовался. И всё же он отчётливо сознаёт, что имеет полное право на эти слова. Откуда-то ему известно, что, когда они произносятся впервые, они ещё не обязаны обладать своим полным весом; их первая задача — расправить, высвободить внутри человека правильное просторное место, которому ещё предстоит наполниться живой кровью. И парень продолжает творить, устраивать в себе это место:

— Милая, — произносит он. — Светлая. Любимая.

Ему кажется, что сегодня — самый первый день его жизни и что вся его жизнь будет похожа на этот день. Если бы кто-нибудь сейчас сказал ему, что такого счастья, как сегодня, он уже не испытает никогда: будет искать его — и не найдёт, будет жадно ловить его отблески, отсветы, дуновения, каждый раз обманываясь надеждой снова получить целое, а при слове “счастье” будет воображать лишь этот день, больше ничего, — он, конечно, не поверил бы.

Он мысленно оглядывается в прошлое, — быть может, впервые в жизни, — и ощущает страх оттого, что он мог так и прожить до самой смерти, не испытав того, что испытывает сегодня.

Он думает: как же он жил раньше? Неужели он никогда не бывал на природе, не видел красивых девушек? Бывал, видел, отвечает он себе. Просто он воспринимал всё это, как... как маленький ребёнок воспринимает деньги. Для ребёнка деньги — это простые бумажки с рисунками. Ребёнок не понимает, что эти бумажки не просто бумажки, что в них есть какой-то другой, небумажный вес...

Сравнение с деньгами кажется ему точным. Разве что в самом сопоставлении денег и прекрасного есть какое-то несоответствие. Ведь в наивном отношении ребёнка к деньгам тоже есть что-то возвышенное, чем можно восхищаться.

Парень понимает, что ему ещё только предстоит привести мир своих метафор в порядок — так, чтобы одно всегда сходилось с другим...

— Молодой человек, — долетает до него с дороги женский голос. На слове “молодой” сделано какое-то укоризненное ударение, будто голос намеревается напомнить о своих ущемлённых правах.

Парень привстаёт, оборачивается и видит толстенькую, коротко постриженную женщину с рюкзаком за плечами. На ней джинсы в обтяжку, показывающие, что она с удовольствием принимает своё тело таким, какое оно есть. За её спиной стоит, наверное, её дочь — девочка лет пятнадцати, худая, с очень миленьким, сладко красивым личиком и вьющимися распущенными волосами. На девочке голубые джинсовые шорты с бахромой и чёрная футболка с реалистичным изображением голубого единорога, который встал на дыбы в вихре звёзд. У обеих путешественниц руки на рулях одинаковых велосипедов, и смотрят они на парня одинаковыми ожидающими взглядами, как с фотоснимка.

— Молодой человек, — повторяет женщина. — У нас ЧП. Выручайте. Вот...

Она отступает на шаг, и дочь послушно выходит на передний план, а затем, после лёгкого толчка мамы, подвозит свой велосипед к парню. Парень встаёт с травы и тут же присаживается на корточки. Он видит, что с велосипедом всё в порядке, просто со звёздочки соскочила цепь.

Девочка принесла с собой запах фруктового шампуня и чистого тела. Ощутив этот запах, парень ненадолго поднимает взгляд от загорелых коленей девочки к её лицу. Девочка улыбается, — видно, что не ему и не о нём, а, наверное, просто от привычки улыбаться, оттого, что нет причин

не улыбаться. В такой улыбке тоже кроется красота. И даже в том, что девочка время от времени шмыгает носом и из-за насморка её аленький рот всё время приоткрыт, — тоже кроется красота.

— Могла бы она так же ехать по полю одна, как *та*? — быстро соображает парень. — Вряд ли. Скорее всего, мама не пустила бы её. Да она бы и сама не захотела. Ей было бы скучно одной. А *той* не скучно. *Той* хорошо с полем, с рекой, с самой собой. Господи. Какая она прекрасная. Неужели я её больше не увижу? Неужели мы не поговорим, не будем вместе?”

— Доктор, не томите нас, — говорит женщина. — Скажите: пациент обречён или есть надежда?

Девочка на секунду оборачивается к маме с той же улыбкой — и с той же улыбкой поворачивается обратно к парню.

— Вскрытие покажет, — подыгрывает парень женщине, вставая с корточек, и девочка снова на секунду оборачивается к маме; ей интересно узнать мамину реакцию на слова парня. При каждом повороте головы её волосы красиво вздымаются и опадают, напоследок коротко качнувшись из стороны в сторону. Быть может, она отчасти для того и вертит головой при каждом удобном случае, чтобы непрестанно рождалась от неё эта нехитрая, но действительная красота.

Парень приподнимает заднее колесо её велосипеда, зацепляет пару звеньев за звёздочку и, крутанув рукой педаль, моментально ставит цепь на место.

— Вот, в принципе, и всё. Жить будет, — выносит он заключение, быть может, лишь для того, чтобы ещё раз увидеть движение прекрасных волос, которое незамедлительно и видит.

— Ой, ну что бы мы без вас делали! — восклицает женщина с такой преувеличенной благодарностью, что сразу не верится в её серьёзность. — Такие люди, можно сказать, на дороге валяются! А чем вы, если не секрет, занимаетесь? Ну, то есть вообще, по жизни?

— Я художник, — отвечает парень, почему-то не чувствуя в своём ответе никакой лжи.

Снова стремительный взмах девочкиных волос.

— Худо-о-ожник? — женщина вытягивает своё круглое лицо, и опять невозможно поверить, что она действительно удивлена. — И можете починить велосипед? Ну, вы просто уникам! Вы кто по знаку зодиака?

— Стрелец, — отвечает парень не сразу, стыдясь немного, что знает о себе такие вещи.

— Стрелец! Так я и знала! Всё! Вы обязаны прийти к нам сегодня в гости. Правда, заяц?

Девочка снова совершает своё движение, на этот раз показавшееся парню уже немного навязчивым, и мелко кивает, как бы говоря: “Да, да, да, ты правильно поняла. Он классный”.

Внезапно женщина скрывает гадливую гримасу, удивительным образом сжимая все части своего лица в такую маленькую кучку, что и не разберёшь сразу, где у неё теперь нос, где рот, а где глаза.

— Ой, ну, я ведь уже умоляла тебя слёзно, кошечка моя, не шпындать носом! Что подумает художник? Что ты девочка-даун. У тебя же не написано на майке, что ты у меня свободно говоришь на английском и французском, занимаешься танцами и пишешь стихи.

Парень чувствует себя обязанным отдать дань удивления разнообразным способностям девочки. Выпятив нижнюю губу, он качает головой, как бы признавая: “Да. Ничего не скажешь — хороша”.

— Да, мы такие, — приближается женщина к дочери и, запуская пальтерню в волосы на её затылке, чешет её сильно, как зверька. — Умные, красивые. Только у дас дасборк и бы дебдожечко двигаеб дособ. Да, зайчон?

Теперь девочка смотрит с обворожительной, чуть наглой даже улыбкой прямо в глаза парню. Такое впечатление, что через руку матери ей передавалась недостающая для этого смелость.

Мать рассказывает спокойно, мирно, именно так, как рассказывают что-нибудь, глядя маленького домашнего питомца, который гнездится на коленях:

— У нас коттедж в СНТ “Черёмуха”. После церкви сразу налево и до плагбаума. Четырнадцатый участок на первой линии. Вы не перепутаете: там кругом одни сараи, единственный приличный дом — это наш. — Она смотрит на работу своей руки в волосах дочери, сильнее увлекается этой работой и начинает мощно массировать девочке шею. — Вот только съездим в город по делам... купим то-ортик... шампа-а-анского бутылочку... Правда, рыба?.. — она уже говорит с лёгкой одышкой. — А у нас хорошо... Малина... смородина... клубника ремонтантная... прудик свой... всё очень даже... часиков в пять приезжайте... всё увидите...

Вдруг она, как бы несколько раздражившись на дочь за тот лирический гипноз, в который невольно погрузилась, глядя её и массируя, толкнула ладонью девочку в шею.

— Так, всё, давай целуй художника — и поехали.

Тонкими пальцами девочка медленно убирает волосы за уши и, чуть вытянув голову вперёд, смотрит на парня с озорным стыдом.

— Давай, давай, не ломайся, — подбадривает мама. — Одной клубничкой нормального мужика в дом не заманишь. Мужчине нужно другое — сама знаешь, что.

Девочка протягивает к парню руки над рамой своего починенного велосипеда, берёт его ладонями под подбородок, словно собирается осторожно снять с него голову, притягивает его лицо к своему и прикасается губами к его губам. Парню начинает казаться, что она и вправду сняла с него голову.

— Так, не увлекаться, — словно приклеивает мама голову на место, и девочка медленно (“по-взрослому”, подумал парень) отрывает от него свои губы и отдаляет от него лицо. Глаза её как будто пьяны. Она снова проводит пальцами за ушами, хотя с волосами её ничего плохого не успело сделаться, и парню нравится бесполезность этого движения.

— Вот если приедет в гости, тогда оставлю вас вдвоём — будете целоваться, сколько захотите. А сейчас поехали. В женщине должна быть недоговорённость.

Мать и дочь синхронно садятся на велосипеды.

— По крайней мере, насморком мы его уже наградили, — балагурит напоследок мама, и, залиvisto смеясь, обе женщины, большая и маленькая, трогаются с места.

Когда они набирают ход и отъезжают достаточно далеко, девочка стремительно оборачивается и смотрит на парня с победной улыбкой, будто он — смешной снеговик, которого она только что слепила. Ей, несомненно, доставляет удовольствие, что парень всё ещё стоит как вкопанный, глядя ей вслед, и она ещё раз два оборачивается, чтобы снова получить это удовольствие, а заодно и взмахнуть лишний раз волосами.

Потеряв их фигуры из виду, парень поднимает с земли свой велосипед и медленно продолжает вглядываться в путь вдоль реки. На губах его будто осталась вмятина от губ красивой девочки, как если бы его губы были из воска, а её — из горячего металла.

“...Будете целоваться, сколько захотите”... При воспоминании об этих словах по телу его пробегает дрожь.

“Одни, без всех, — произносит он про себя совершенно безвольно, — где-нибудь в листьях, на качелях, долго, сколько захотим”.

Он с опасением вглядывается в себя и проверяет, что теперь стало с *той* — милой, любимой, светлой, — и с облегчением видит, что она никуда не исчезла.

И снова в окружающем мире чувствуется присутствие ещё никем не написанных стихов. Это стихи о *ней*. О ней теперь стало гораздо легче говорить, потому что появилась *другая*, а вместе с ней и все *другие*, которые ещё будут.

— “В чужих объятьях забывал...” — бормочет парень, не понимая, что говорит вслух. — “Но ты... ты и тогда была со мною... Как будто на меня смотрели твои печальные глаза... Всё испытал и разуверюсь... Я снова на исходе дня... ересь... вереск... надеюсь... Не знаю, примешь ли меня...”

“Нет, слишком много всего, — понимает парень. — Чуть поменьше. Сегодня надо просто... прожить. Это только начало”.

Он внимательно смотрит вокруг. Странное освещение настало в природе. Там, наверху, наверное, сильный ветер: облака стремительно пролетают мимо солнца, то и дело скрывая его, и по тёплому полю прокатываются их могучие тени. Кажется, что это не тени облаков, а самостоятельные облака земли.

Ивы и кустарники показывают бледную изнанку листвы, и не то с неба, не то с реки обрызгивают парня холодные капли. Сухой травяной клубок катится за ним вдогонку и, едва поравнявшись с человеком, смиренно распадается на отдельные стебли. Парень садится на велосипед и едет.

Едет он долго, неотступно следуя за прихотливыми изгибами реки и наблюдая за тем, как храм, бывший вначале далёким белым пятном, вырастает, обретает всё более подробные очертания. Парень начинает видеть протянувшееся от храма село, потом видит деревянные леса, которыми обстроена колокольня. А вон пёстрое, густо заставленное крестами кладбище. А вот деревянная хозяйственная постройка, чернеющая дверным проёмом и окружённая россыпью опилок и колотых дров.

Оказывается, храм стоит на другом берегу реки. С этого берега к нему перекинут ветхий дощатый мост. Парень идёт по мосту и останавливается над рекой. К опорам прибились водоросли, и можно очень долго смотреть на то, как их треплет течение.

Снова воцарилась тишина. Приходит сонное, самое жаркое время дня. Редкие облака двигаются по небу медленно, лениво, не пересекая солнце. Всё стало настолько горячим и ярким, что потеряло цвет и кажется обморочно-тёмным.

Высокий священник в чёрном подряснике бодро выходит из храма и останавливается возле человека в тёмной, совсем не летней одежде, опершегося на черенок какого-то хозяйственного инструмента. Человек, видимо, ждал священника. Оба оживлённо жестикулируют, о чём-то спорят, как вдруг священник движением руки зовёт к себе парня. Парень вопросительно показывает пальцем себе на грудь, священник кивает: “Да, ты”, — и уверенно повторяет зовущее движение.

Парень подкатывает велосипед к беседующим.

Священник — черноволосый и чернобородый — осеняет парня крестом, кладёт большую тяжёлую ладонь на его голову.

— Вот тебе будет помощник, Матвейка. До всенощной стожок соберёте. Как ты, брат? Не возражаешь потрудиться во славу Божию? — обращается он к парню, только сейчас убрав руку с его головы.

Парень медленно пожимает плечами.

— Или есть дела поважнее? — без осуждения спрашивает священник.

— Да, в принципе, нет.

— Ну, и спаси тебя Христос. Сейчас Матвейка тебя снабдит инструментом — и за дело. С Богом, ребята.

Он уже направляется к хозблоку, по дороге снимая с себя подрясник и становясь крепким широкоплечим мужчиной с красивой узкой талией, в майке, заправленной в коричневые шерстяные брюки, в ременные петли которых почему-то продета верёвка. Парень остаётся наедине с Матвейкой.

Матвейка — человек неопределённого возраста с изувеченным лицом. Одну его глазницу, в которой то ли есть, то ли нет глаза, целиком закрывает набухшая оттянутая бровь. Нос как будто вбит в лицо двумя ударами топора и выдаётся на конце одной единственной, да и то набок скошенной кнопкой. Нижняя губа тоже скошена, причём в противоположную от кнопки сторону, и налезает на верхнюю, выворачиваясь глянцевой розовой изнанкой. Кожа у Матвейки коричневая, как подгнившая груша, и в складках её местами что-то белеет. Только волосы у него на удивление здоровые, густые, разве что серые от седины и растрёпанные, как перья старой птицы.

Он всё ещё опирается на грабли и еле заметно мотает головой, глядя на то, как священник копается в темноте хозблока с бензопилой. Единственный его видимый глаз напоминает одинокое крохотное оконце в стене уродливой

башни, по скупому свету которого только и можно судить, что внутри этой башни ещё теплится какая-то жизнь.

— Да-а... лихо-ой поп Андриюшка, — шамкает он слова с бульканьем на многих звуках, сплёвывает в сторону паперти и, опершись на грабли сильнее, по-деловому ставит ногу на ногу. — Хочет всё — и сразу.

— Там сказали про какой-то инструмент, — тихо напоминает парень, почему-то боясь огорчить священника затянувшимся бездействием.

— Да погоди ты, не убежит, — Матвейка напряжённо сплёвывает ещё раз, не переставая наблюдать своим глазком-окошком за действиями священника. Он медленно закрывает и открывает этот глазок, и тогда парень замечает на его верхнем веке полустёртую татуировку, неизвестно что изображающую.

Наконец, священник отвлекается от починки бензопилы и с удивлением обнаруживает, что его рабочие не сдвинулись с места.

— Вы чего? — спрашивает он без злобы, распрямляясь в дверном проёме.

— Как же я ему грабли дам, батюшка, если вы их сами после службы Серафиме отдали?

Когда Матвейка пытается говорить громко, его бульканье заметно усиливается и почти бесследно растворяет в себе слова. Но отец Андрей понимает его мысль.

— Серафима... Серафима... Милая моя... — приговаривает он задумчиво, то хватая, то отпуская свою угольную бороду. — Забрала ты, бабушка, грабли у меня...

Посреди размышления он одаривает Матвейку коротким пронизательным взглядом, как бы удивляясь уважительно его таланту оттягивать начало работы так, что не придерёшься. Но и парню, и Матвейке ясно, что без работы они не останутся, что священник найдёт выход из положения.

— Хорошо...

Он скрывается в хозблоке, чем-то довольно долго там гремит и наконец выходит на улицу с новенькими граблями в руке. Грабли эти — необычные, крашенные, сделанные в виде веера из тонких полосок стали.

— Вот. Матушкины. Прошу не ломать — ибо убьёт. Причём не вас, а меня.

Новые грабли вручаются Матвейке, а Матвейкины переходят к парню. Почесав голову и не найдя, что ещё сказать, батюшка возвращается к бензопиле. Матвейка, не говоря парню ни слова, отправляется к месту работы. Парень оставляет велосипед и идёт за ним.

Они идут сквозь кладбище. Матвейка спокойно продолжает сплёвывать по сторонам, иногда попадая на чью-нибудь могилу. Парень начинает думать, что только безысходность, только животная жажда выжить могли прибить этого человека к храму. Парень оборачивается к храму: здание видится ему таким же угрюмым и тесным, как жизнь Матвейки.

“Плен”, — вспоминает парень, однако продолжает покорно следовать за сутулой Матвейкиной спиной.

Кончается кладбище, за которым — поле. Одно от другого отделяют растущие в ряд ивы, высокие, посаженные, видимо, очень давно. Под одну из них Матвейка тут же садится, положив грабли на кучку кладбищенского мусора. По хорошо примятой траве видно, что место это насиженное. Матвейка долго рассматривает свой инструмент, а затем изрекает со своим бульканьем:

— Это разве грабли? Спиночёска какая-то.

Парень улыбается.

— Есть чё покурить? — забывает о граблях Матвейка.

— Не курю, — разводит руками парень.

Матвейка достаёт из внутреннего кармана рабочей куртки мятую пачку и достаёт из неё последнюю сигарету. Кидаёт скомканную пачку в поле, закуривает.

— В такую жару разве можно работать? — спрашивает он кого-то и, выпустив дым разом из кривого носа и кривого рта, сам отвечает: — Если только на зоне.

Заводится за кладбищем бензопила и начинает нудно реветь. Матвейка затягивается часто, чтобы как можно меньше дыма ушло в воздух, миновав его лёгкие.

— Я б такой, чтобы дёрнуть отсюда.

— Куда? — спрашивает парень.

— Куда... — передразнивает Матвейка. Сигарета уже выкурена, он отворачивается и выдавливает на уголёк слюну и кидает окурочек туда же, куда кинул пачку. — Есть места...

— А что удерживает?

Парень думает, что Матвейка передразнит и этот его вопрос, но Матвейка не так предсказуем.

— Кормёжка удерживает, койка удерживает, — отвечает он обстоятельно и серьёзно, видимо высказывая парню то, что высказывает сам себе по многу раз на дню. — И лавэ на билет Андрюшка обещал.

Вдруг Матвейка воровато оглядывается по сторонам, похожий на маленького хищного зверя, в каждом движении которого сказываются одновременно две заботы — поймать добычу и самому ею не стать. Убедившись, что всё тихо, он запускает руку в кладбищенский мусор и извлекает оттуда полуторалитровую пластиковую бутылку, заполненную на треть чем-то прозрачным и бесцветным, как вода. Встряхивает жидкость, отвинчивает крышку и делает глоток. После глотка надувает щёки, отчего кривая нижняя губа выворачивается ещё сильнее. В завершение уютно причмокивает.

— На, — предлагает он бутылку парню, не протягивая руку слишком далеко; видимо, одолжение и без того не по чести большое.

Отчего-то парень чувствует, что отказ невозможен, и, нагнувшись к Матвейке, принимает бутылку. Он боится оскорбить этого человека, протерев горлышко бутылки майкой, и, чтобы победить брезгливое чувство, бездумно, не разбирая вкуса, делает несколько больших глотков.

— Э, э... — останавливает его Матвейка.

Парень отрывается от бутылки и лишь теперь понимает, что он только что впервые в жизни выпил крепкого, горючего алкоголя. Он чувствует во рту обильный приток слюны, сдерживает рвотный спазм, а затем с моментальным облегчением ощущает, что тело приняло напиток. Жара, царящая в природе, теперь воцарилась и внутри. Глаза парня, которые как-то сразу расслабились и затуманились, ищут прохлады и находят её рядом с Матвейкой, с самого начала мудро избравшим место под деревом. Парень хочет подсесть к нему, хочет, быть может, даже пооткровенничать с ним, положить ему руку на плечо, доказав, что ничуть не брезгует им, но, как ни странно, именно в этот момент Матвейка поднимается, чтобы приняться за работу.

— Надо побатрачить, — говорит он, презрительно потряхивая своей "спиночёрской". — А то без курева тоскливо совсем.

Он удаляется в поле и сразу, будто не начал, а продолжил давно начатое дело, принимается за работу. Трудится он не очень складно, не так, что залобуешься, и всё же движения его полны уверенности. Видно, что жизнь приучила его браться без раздумий за самые разные виды работ, хоть ни в одном из них, наверное, не позволила ему по-настоящему преуспеть.

Парень оглядывает прямоугольный участок поля со скошенной травой, которую предстоит убрать, и понимает, насколько нестрогий человек отец Андрей и насколько смешной человек Матвейка: участок совсем маленький, двадцать на двадцать метров, не больше.

Чтоб не мешать Матвейке, парень удаляется в дальний от него угол участка и тоже начинает возить граблями по полю. По примеру Матвейки он собирает траву в кучки, кучки сгребаёт в охапки, а охапки сносит в середину участка, пополняя таким образом стог.

Вскоре хороший трудовой пот покрывает его тело, как смазка, необходимая для полноценной работы механизма, и парень трудится с блаженным отсутствием мыслей, не задумываясь о том, что делает, но делая всё правильно. С каким-то замороженным интересом он слушает своё дыхание, то попадающее в такт его движениям, то выпадающее из такта. Погружаясь в работу ещё безогляднее, он замечает, что при выдохе слегка округляет губы,

тем самым достигая глухого, не до конца прорезанного свиста, при помощи которого исполняет себе какую-то глупую, случайно привязавшуюся мелодию.

Он мимоходом оглядывается на Матвейку и не может сдержать улыбку, видя, как тот со смешной яростью обрушивает свою “спиночёску” на поле и, видимо, подыскивает про себя новые язвительные имена для этого инструмента.

Через несколько минут, оглянувшись на Матвейку ещё раз, парень видит его неподвижно стоящим в поле. Руки Матвейки осторожно сложены на верхушке черенка — хорошенько опереться на грабли ему не даёт предупреждение отца Андрея.

Неожиданно парень чувствует к Матвейке то же самое, что он чувствовал к тем местам у реки, где ему сегодня приходилось останавливаться: этот человек уже не чужой ему и никогда не будет чужим, он навсегда отпечатался в его сердце и тоже стал его милой родиной. Парень снова ощущает рядом присутствие стихов — каких-то новых, не о любви, не о лесе, а, наверное, просто о человеке, — но он уже не пытается услышать слова этих стихов. Ему достаточно знать, что стихи есть, что они снова рядом.

— Не гони, — говорит Матвейка, скупым движением убирая пот с набухшей уродливой брови. — Работа не волк. Раньше сделаем — Андрюшка ещё что-нибудь придумает.

Парень неосознанно перенимает Матвейкину позу. Видимо, Матвейка с удовольствием присел бы сейчас под деревом и закурил, но поскольку сигарет нет, он решает ещё поговорить.

— Так-то нормальный мужик Андрюшка. Я его *так* называю про себя. (Какой он мне отец? Это *я* ему в отцы гожусь). Никогда не крикнет. На сигареты даёт. Что, говорит, с тобой сделаешь, Матвей Семёныч, с курякой. Только, говорит, если узнаю, что вино покупаешь, больше давать не буду. — Матвейкино лицо преобразается в нечто, что означает улыбку. — А я и не покупаю. Мне Серафима самогон приносит. Я у ней на огороде тоже помогаю, вот она и даёт. Она вдова, давно муж помер. Оставайся, говорит, у меня. Я уж не женщина, да и ты не мужчина. Так, говорит, будем друг друга подпирать.

— А ты что?

Парень думал обращаться к Матвейке на “вы”, а почему-то сказал “ты” и понял, что сказал правильно.

— А я что... — не передразнивает, а просто подхватывает Матвейка. — Спасибо, говорю, Серафима. Только это в тебе что-то не твоё говорит. Не верю я, чтобы тебе такое чучело в доме понадобилось. Что-то здесь, говорю, не так. Хочешь Боженьке услужить, наверное. Грешки замолить. Не-ет, говорю, не пойдёт, извини. Какой я ни есть, а я не пёс, чтоб меня с дороги подбирать. Мне свой, собственный угол нужен.

На словах “свой, собственный” Матвейка два раза тихонько бьёт себя в грудь, и лицо его моментально холодеет от достоинства, причём происходит это за счёт какой-то неуловимой перемены в его одиноком глазке.

Он берётся за грабли и потихоньку пробует ими землю, вроде бы возвращаясь к работе. Парень поступает так же, однако Матвейка снова отставляет грабли, и парень снова невольно повторяет за ним.

— Знать бы только, жив он или нет, в тюрьге или на свободе, — задумчиво булькает Матвейка.

— Кто *он*?

— Сын мой. Такой же вот, как ты. Только старше лет на пятнадцать. Может, он и говорить со мной не станет. Плюнет мне в рожу — тьфу, скажет, не отец ты мне — и весь базар.

Бензопила за кладбищем умолкает. Парень чувствует, как день начинает медленный поворот к вечеру. Он чувствует это по слабому рыжеватому оттенку, который вкрался в белизну колокольни, несмотря на то, что небо всё ещё полуденно голубое, без единой вечерней краски, а ещё по особому необъяснимому умиротворению, вдруг разливавшемуся в воздухе. Всё вокруг как будто перевело дух, вытерло пот со лба и сказала: “Ещё не конец, но самое трудное уже позади”.



Не сговариваясь, собеседники разбредаются по своим углам и начинают заново входить в работу. Это даётся сложнее, чем в первый раз: пот уже как будто весь вышел и движения выходят сухие, одиночные, несмазанные, но в целом работается приятнее, потому что пламя жары отошло и большая часть работы уже сделана.

Наконец заброшены на стог последние охапки. Стог — парню по грудь, Матвейке по шею. Оба любят результат работы — горой сена и убраным, гладким участком поля.

Неожиданно возникает из недр кладбища отец Андрей. Брюки у него жёлтые от опилок, в руках — два белых пластиковых стаканчика с чем-то тёмным внутри.

— Сдружили? Вот молодцы! Спаси Христос! — благодарит он работников и вручает каждому по стаканчику. — Витамины за труд.

Парень смотрит в стаканчик — там черника, крупная, как бы покрытая инеем.

— Изжога у меня от неё, — капризно объясняет Матвейка, будто уже не в первый раз.

— Изжога у тебя от другого, — говорит священник. — Ешь.

Он ухватывает из Матвейкиного стаканчика щепотку ягод и, задрвав голову, закидывает их разом в свой белозубый красивый рот.

— Черники в этом году... — сообщает он, жуя. — Стрекоза Андревна целый жбан за полтора часа набрала. И ещё поехала...

Чему-то вздохнув, он направляется в сторону храма и договаривает, уже как бы себе самому:

— Прогульщица. Опять одним старухам всенощную петь...

Парень забрасывает чернику по одной яголке в рот, смотрит священнику вслед и как будто продолжает слышать его голос. Этот голос хочется слышать ещё. Так приятно, что священник говорил с парнем и Матвейкой, как с близкими, важными людьми. Эта его неуместная доверительность, то ли женская, то ли детская, никак не сходится с его мужественным обликом.

Парню нравится отец Андрей.

— Давай, — говорит Матвейка и протягивает руку, чтобы забрать у парня грабли. — Сейчас отнесу — пойду в село сигареты стрелять. Без курева повесится можно.

Он уходит дорогой отца Андрея, скрываясь среди крестов и оград.

Парень не знает, что ему теперь делать. Подумав, он решает вернуться к своему велосипеду, но не кратчайшим кладбищенским, а другим путём — обогнув храм полем.

Он поднимает голову, смотрит на храм и испытывает одновременно два непохожих ощущения. Одно — что перед ним довольно жалкое здание: штукатурка, облупившаяся местами до кирпича, леса, похожие на аппарат Елизарова (он видел такой аппарат на ноге у одного человека в больнице). А другое — что перед ним инопланетный космический корабль, в котором всё, что кажется созданным просто так, для красоты, на самом деле имеет какое-то гораздо более важное, таинственное назначение.

По пути он видит усыпанную щебнем дорогу, в конце которой виднеется красно-белый шлагбаум, и видит за этим шлагбаумом солидную черепичную крышу дома “на первой линии”, выдающуюся из ряда низких и заржавленных дачных крыш. Почему-то при мысли, что он может сегодня оказаться в этом доме, ему становится не по себе. Он поскорее уходит от этой дороги и через минуту оказывается у раскрытых дверей храма, недалеко от которых лежит его велосипед. И что-то заставляет его войти в храм.

В храме прохладно, пусто, сумеречно. Стены без росписи, и икон на них совсем немного. Несколько старушек стоят в разных концах у подсвечников, что-то непрестанно и бесшумно делая со свечками и лампадками. Парень выбирает место поближе к дневному свету, неподалёку от маленького вытянутого окна, прямоугольного внизу и полукруглого сверху.

Из алтаря раздаётся голос священника, и, словно проснувшись, ему откуда-то сверху отвечают вразнобой дрожащие старушечьи голоса:

— А-минь...

Не сразу и понятно, что это было пение.

Священник снова что-то произносит (или поёт?) и просто, как из дома, выходит из далёкого алтаря, звеня дымящимся кадилом и сверкая облачением.

Старушки-прихожанки сходятся к центру храма. Парень считает их — их всего восемь. Одна подманивает его рукой, призывая стать девятым в их кучке. Он повинуется.

Внезапно начинается довольно стройное пение. Оно будто не церковное, а простое народное. До парня доносятся слова:

— Благослови, душе моя, Господа... Благословен еси, Господи... На горах станут воды... Дивна дела Твоя, Господи...

Эти “горы” и “воды”, о которых поётся в тихом неподвижном сумраке, создают в душе парня какой-то особый, неизвестный ему прежде уют. Он как будто видит весь мир изображённым на детском рисунке.

Отец Андрей обходит храм, наполняя его ароматным густым дымом. Парню кажется, что Господь, создавая мир, тоже мог пользоваться таким дымом: вот совершенная чернота, нет ничего; вдруг появляется этот дым — и когда он рассеивается, уже видны земля, небо, деревья, звери, “горы” и “воды”.

— Посреде гор пройдут воды... Дивна дела Твоя, Господи... Вся премудростию сотворил еси... Слава Ти, Господи, сотворившему вся...

Парень крестится вместе со старушками. Священник возвращается в алтарь, старушки расходятся на свои посты у подсвечников, парень отправляется к своему месту у окна.

Вскоре он слышит новое песнопение, почему-то уже совсем не такое уютное, как первое.

— Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых... — скорбно затягивают старушки, дрожа голосами, как треснутые скрипки. — Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя... Яко весть Господь путь праведных и путь нечестивых погибнет. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя... Работайте Господеви со страхом и радуйтеся Ему с трепетом. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя...

На словах “погибнет” и “со страхом” старушки у подсвечников крестятся и кланяются с особым усердием.

Парень пытается связать это песнопение с первым — и не может. Ему непонятно, почему Бога, который с такой любовью создал “горы” и “воды”, надо бояться и почему чей-то путь должен погибнуть.

— Свете тихий... — слышит он новое и сосредоточенно затихает, надеясь именно в этом песнопении найти связь между двумя предыдущими. Не все слова ему удаётся расслышать, а из тех, что удаётся расслышать, не все ему понятны. Но вдруг одна фраза выстреливает из пения и сразу застревает у него в сердце:

— Пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний...

Он взглядывает в окошко, у которого стоит, и видит за ним мир, ограниченный оконным проёмом, как картина — рамой. В округлом верху этой картины пухлые неподвижные облака, уже успевшие порозоветь, внизу — вечернее поле со множеством розовых тропинок, с пушистыми деревьями, сверкающей мошкаррой, — и где-то совсем вдалеке пасутся пятнистые коровы.

*“Знаю я, что в той стране не будет этих нив, зляющихся во мгле...”*

Внезапно до парня доходит какой-то горький, похоронный смысл всего существующего, а вместе с ним и знание, что без этого смысла невозможны и стихи.

Он сразу начинает беззвучно рыдать. Плечи его прыгают, как не принадлежащие ему. “Что со мной?” — спрашивает он себя, не в силах остановиться. Никогда раньше рыдание не действовало в нём настолько самостоятельно, независимо от него.

Не понимая толком, что делает, он выходит, почти выбегает из храма. Тёплый уличный воздух сразу успокаивает его, и тогда он догадывается, что, быть может, следовало остаться. Но вернуться уже очень сложно, почти невозможно.

Из пелены слёз выплывает сидящий на корточках темнолицый Матвейка. Глаза парня высыхают.

— Ты чего? — спрашивает Матвейка.

Парень стыдливо пожимает плечами.

— А-а... — понимает Матвейка — Прошибло? — Он слёвывает, и парень видит, что перед ним наплёвана уже целая лужа. — Меня вот только никак не прошибёт...

Матвейка закуривает.

Парень вглядывается в день, смотрит на небо. На небе не видно ни облака — и всё же оно не ясное, не голубое. В тёплом воздухе застыло ожидание.

— Что-то будет... — понимающе говорит Матвейка и кивает на пиленные и колотые дрова. — Придётся всё в сарайку сносить.

Видимо, Матвейка уверен, что и это дело они будут делать вместе, но парень уже не слышит его: взгляд его направлен в сторону мест, которые предстали перед ним в окне храма. Шапки ив заслоняют обзор, ему хочется пойти и отыскать то окно со стороны улицы, чтобы повернуться к нему спиной и снова взглянуть на эти места. Но он не идёт, потому что боится не увидеть того, что видел. Он почти уверен, что не увидит этого.

Он поднимает с земли велосипед и медленно, придавленно движется к мосту.

— Уходишь? — спрашивает Матвейка и сразу одобряет: — Правильно. Я тоже дёрну, как смогу.

Парень переходит мост, садится на велосипед и едет.

Отъехав достаточно далеко, он оглядывается и видит храм таким, каким уже видел его, подъезжая. Храм стоит молчаливо, как и тогда, но теперь парень знает: там, внутри, продолжается сумеречное и терпеливое общение людей с непостижимым, странным, божественным. Ему становится на мгновение горько, что он не с ними; может быть, сразу после его ухода под сводами храма зазвучали те слова, которые могли бы утешить его, многое ему объяснить.

А ещё теперь ему известно, что где-то там, возле большого, вросшего в землю белого тела храма, вращается малая точка Матвейки — отдельного человека, с которым он сегодня был рядом.

Он снова глядит перед собой. Тёмно-серое выдвигается ему навстречу из-за горизонта и быстро растекается по бледному небу. В то же время поле занимается сказочным оранжевым светом. Парень оглядывается и видит в небе невероятную золотую трещину, из которой льётся этот свет.

Он едет чуть быстрее и замечает, как отдельные полевые растения пошевеливаются тут и там в первой предгрозовой тревоге. Река почернела, перестала отражать небо. Кажется, что она загустела и застыла, как кисель.

Ослепительно ярко загораются впереди два медальона лиц и два велосипедных руля. Так красиво... Можно подумать, что это степные кочевники едут верхом на буйволах. Но парень догадывается: “Это они”.

Расстояние быстро сокращается. Так и есть, они. Он замечает, что волосы у обеих мокрые.

Они притормаживают, он вынужден остановиться тоже. На лицах женщин один и тот же след только что полученного и ещё не утихшего удовольствия.

— Эх, художник, — говорит мама, взбивая ладонями свои короткие обвисшие от влаги волосы, — на такую ты картину чуть-чуть не успел! Мы сейчас там с Алисой около леса купались... — она перегибается через руль и добавляет шёпотом, как бы по секрету: — Голенькие!..

Алиса смотрит на парня бесстыдными смеющимися глазами. Лицо её светится, горит от заката.

— Ну, то, что я была голенькая, — продолжает женщина, беря под ладони свою маленькую, как у толстого мужчины, грудь и как бы взвешивая её под футболкой, — это мы опустим. Это зрелище не для слабонервных. Но эта... — она целует пальцы, собранные шепоткой, и расщепляет их в небо. — Водяная лилия! Русалка! Сирена! Вы художник — вы просто обязаны

нарисовать её обнажённый портрет! А знаете, как она по вас скучала? Мммм! Аж дрожала вся!..

Женщина смешно изображает дрожь, а парень начинает дрожать всерьёз.

— Ну — смеялись уже, — переводит женщина сама себя на деловой лад и подвигается с велосипедом вперёд. — А то щас ливанёт — а я, вообще-то, больше мокнуть не планировала. — Вдруг она пристально, но снова видно, что несерьёзно заглядывает парню в глаза: — Я надеюсь, вы сообщили, кому надо, что останетесь ночевать в гостях?

Парень понимает, что сейчас должно будет произойти что-то неудобное. Он принуждённо улыбается и бормочет:

— Да вот... Оказалось, что надо мне ехать срочно. Извините, я...

Он резко надавливает всем весом своего тела на педаль, буксует задним колесом и, протиснувшись между Алисой и её мамой, начинает работать ногами страшно, до боли в икрах, чтобы не видеть, не слышать, забыть.

— Художник! — всё-таки слышит он за спиной. — Вы куда?!.. Что с вами, художник?!.. Художник, а вы случайно не голубой?!.. Или художники все голубы-ы-ые?!..

Она неестественно хохочет и выкрикивает что-то ещё, но парень уже не может разобрать слов. Ему кажется, что эти слова раздаются не позади, а откуда-то снизу, как будто он обрубил канат воздушного шара и стремительно уносится ввысь от бессильных преследователей.

— Какой ужас... простите... до свиданья... — продолжает он бормотать и крутит, крутит педали...

Несколько минут спустя он, наконец, сбавляет ход и оглядывается — никого не видно.

Впереди уже виднеется родной лес. А вот то место, где он лежал сегодня после встречи с ней. Это место не узнать: оно золотое, а за ним совершенно чёрная река.

“Сфотографировать — никто не поверит”, — думает парень.

Вдруг золотой свет гаснет, завораживающая, но изнурительная борьба света и тьмы прекращается, и в целом становится как будто яснее, светлее, хоть и темно, конечно, перед грозой. Парень чувствует себя простой частью природы, которая ожидает дождя. Он прольётся уже очень скоро.

Тёплый дорожный песок издаёт свой сгущённый запах. На несколько секунд в воздухе устанавливается духота, которая кажется нестерпимой, и тут поле вспыхивает белым светом, река на миг становится ртутной, а затем пропадает в черноте, гром ударяет так сильно, что его слышно не столько ушами, сколько грудью, — и дождь принимается за работу сразу, без разгона.

Сухой дорожный песок моментально мешается с уже промокшим, по дорожники трясутся под ударами воды и блестят, как кишащие лягушки. Кажется, что за счёт влаги, которую они жадно впитывают, они стремятся поскорее стать чем-то большим, чем растения: лягушками, потом зверями, потом, может быть, людьми.

Майка облепляет парню спину — и неприятно, и хорошо, и холодно, и тепло; не поймёшь. Вода давит на тело ощутимой тяжестью, её в воздухе немногим меньше, чем самого воздуха. Уже почти невозможно ехать, колёса вязнут в грязи, да и не видно ничего, как на испорченной видеоплёнке, изображающей только переменчивые рисунки царапин.

Наконец-то, лес. Почему он не увидел в первый раз это маленькое сооружение из бетонных блоков, от которого отходит в сторону реки ржавая толстая труба? Наверное, потому, что оно немного в глубине, а ещё потому, что он вообще мало что видел тогда.

Он оставляет велосипед под бетонным козырьком и заходит внутрь. Здесь повсюду следы человека: жестяные банки, бутылки, тряпки, испражнения, неприличные надписи на стенах. Парень расчищает ногой место на бетонном полу, садится туда и смотрит в проём на улицу. Он видит благородные сосновые стволы в ливневом дыму. Он примеряет к тому, что видит, тютчевское стихотворение про майскую грозу, и с радостью понимает, что здесь совсем не то, — и вовсе не из-за того, что сейчас июль, а из-за того, что каждая гроза для каждого места и каждого человека имеет своё стихотворение.

— “Я в бетонной будке... — сразу ухватывается парень за уникальное, особенное, и окончание строки прилетает само: — *среди рая*”.

Он совмещает:

— “Я в бетонной будке *среди рая*...”

Ему очень нравится. Он чувствует, что ещё должен позаниматься обстановкой будки.

— “*Сидя на загаженном полу...*”

“Если это рай, то почему пол загаженный?” — находит он противоречие, но чувствует, что это противоречие хорошее, что оно должно остаться.

— “*Райский дождь сию переживаю...*”

Он торжествует, впервые ощутив себя настоящим поэтом, но его торжество тут же обрывается, когда он находит запрятанную в строчках ошибку: “сидя, сию” — масло масленое. Ему надо идти дальше, а приходится застревать на месте.

Внезапно в проёме появляется она — та девушка. Она взглядывает на него — и не заходит внутрь, остаётся с велосипедом под козырьком. Парень сразу отодвигает стихотворение вглубь себя — отодвигает осторожно, как отодвигают свечу, боясь, что она погаснет, — и смотрит на девушку. Он видит только одну её ногу в тряпичном голубеньком кеде, руку, плечо и профиль. Он понимает, что не заговорит с нею; мало что на свете так же невозможно, как это. Но уже одно то, что она увидела его и приняла решение остаться рядом, даёт ему нечто гораздо большее, чем разговор и даже чем поцелуй.

Девушка снимает с головы косынку (это не платок, а обычный отрывок какой-нибудь простыни с отделившимися по краям нитками), выжимает её и куда-то откладывает. Потом она красиво, просто выжимает волосы и убирает их в хвост. Сделав эти два дела, она, кажется, ищет, чем бы заняться ещё, и быстро находит себе новое занятие. Она исчезает из виду, до парня доносится знакомый, хоть и чуть более глухой, чем тогда, на поле, стук бидона о велосипед, и вот он снова видит её: она задумчиво, но вместе с тем очень ловко забрасывает в рот ягоды. Она смотрит на дождь, но видно, что ягоды занимают её куда больше.

“Любит ягоды...” — любитесь парень, улыбаясь.

Дождь стихает. За стволами проясняется поле. Девушка снова исчезает, на этот раз довольно надолго. В проёме виднеется краешек колеса её велосипеда: это говорит о том, что она ещё здесь, рядом.

Но вот исчезает и колесо: теперь ни велосипеда, ни девушки. Только какая-то белая тряпочка выглядывает внизу.

“Если это её косынка — значит, она ещё, наверное, не уехала, — рассуждает парень. — Или забыла?..”

Он тихо встаёт и медленно подходит к проёму. Никого нет. На бетонном пороге лежит аккуратно расправленная косынка, на которой рассыпана черника, много черники.

Парень медленно, как бы боясь потерять сознание, опускается на корточки, садится на порог и осторожно кладёт в рот первую ягоду...

Съев чернику, он сидит на пороге ещё долго, время от времени бросая взгляд на белый обрывок ткани, порозовевший местами от сока ягод. Лишь ощутив скорое приближение темноты, он бережно складывает косынку в несколько раз, кладёт её в карман и уезжает в направлении дома.

Трудная, непривычно пустая дорога назад.

Потом привычный город, привычный район, но всё, конечно, уже другое, совсем не родное.

Так уже было однажды, лет восемь назад. Мама повела его на спектакль, и он настолько проникся представлением, что, когда вышел из театра на улицу, долго не мог поверить, что окружающие его здания и люди — настоящие. Настоящим казалось то, что происходило на сцене.

А сегодня солнце и дождь, небо и облака, поле и река, храм и бетонная будка, Алиса и ещё мама, отец Андрей и Матвейка, богомольные старушки и, конечно, она, — всё как будто договорилось выступить перед ним, обыкновенным парнем, единым согласным хором, в котором каждая партия была

исполнена великого, хоть и не всегда понятного значения. Как ему теперь поверить в этот город?.. в свою квартиру?.. в строительный институт?..

Утешают его только огромные лужи, говорящие о том, что *тот* ливень прошёл и здесь.

Уже поднявшись с велосипедом на площадку своего этажа, он долго смотрит застывшим взглядом в подъездное окно пролётом ниже. За окном не видно ничего.

Он думает о родителях. Ему очень их жалко. Сейчас они будут осторожно присматриваться к нему в надежде обнаружить желаемое — что проведённый на свежем воздухе день укрепил его в намерении созидать нормальную человеческую жизнь. Он же чувствует, что готов лишь к одному: к бесплодной и великой судьбе поэта.